

ФЕДОР ЧЕЛНОКОВ

Мамона и МУЗЫ

Воспоминания
о купеческих семействах
старой Москвы



УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
ЧЗ8

Рукопись предоставлена потомками Федора Васильевича Челнокова —
Наталией и Алексеем Никулиными (Бахрушиными)

Издание проиллюстрировано стереофотографиями,
фотографиями и монотипиями Сергея Васильевича Челнокова,
предоставленными Фондом сохранения фотонаследия имени С. В. Челнокова

Автор предисловия *Дмитрий Новиков*

Автор комментариев *Михаил Шапошников*

Челноков, Федор

ЧЗ8 Мамона и музы. Воспоминания о купеческих семьях старой Москвы / Федор Челноков. — Москва : Колибри, Издательство АЗБУКА, 2025. — 368 с.

ISBN 978-5-389-28039-7

Воспоминания Федора Васильевича Челнокова (1866–1925) издаются впервые. Рукопись, написанная в Берлине в 1921–1925 гг., рассказывает о купеческих семьях старой Москвы, знакомых автору с рождения. Челноковы, Бахрушины, Третьяковы, Боткины, Алексеевы, Ильины — в поле внимания автора попадают более 350 имен из числа его родственников и друзей. Издание сопровождают фотографии, сделанные братом мемуариста, Сергеем Васильевичем Челноковым (1860–1924).

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-389-28039-7

© Alexis & Natalie Nikouline
© Фонд сохранения фотонаследия имени С. В. Челнокова
© Издание на русском языке, оформление
ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
Колибри®

Федор Челноков и его воспоминания о московских семействах

Братья Челноковы¹ — автор воспоминаний Федор, мой собственный прадед и автор фотографий Сергей, а также Михаил и Василий Васильевичи — принадлежали к купеческому семейству, обосновавшемуся в Москве еще в середине XVIII века. Кирпичное производство Челноковых во второй половине XIX века стало одним из самых востребованных: из кирпичей с клеймом «Челноковъ» построены здание МХТ, северное крыло Политехнического музея, здание Московской думы (ныне Музей Отечественной войны 1812 года), почти вся Остоженка. Челноковы состояли в родстве со многими известными

¹ Четыре брата Челноковых — сыновья владельца кирпичного завода в Мытищах, купца 2-й гильдии В. Ф. Челнокова; потомственные почетные граждане Москвы: Сергей Васильевич Челноков (1860, Москва — 1924, Копенгаген) — директор правлений товарищества для производства строительных материалов «В. К. Шапошников, М. В. Челноков и К^о» и московского страхового общества «Якорь»; гласный Московской городской думы от партии кадетов; член Московского фотографического общества; коллекционер; эмигрировал после Октябрьской революции.

Михаил Васильевич Челноков (1863, Москва — 1935, Панчево, Сербия) — соучредитель и директор правления товарищества «В. К. Шапошникова и М. В. Челнокова»; московский городской голова (1914–1917), один из лидеров партии кадетов, комиссар Временного комитета Государственной думы по управлению Москвой (1917); эмигрировал после Октябрьской революции.

Федор Васильевич Челноков (1866, Москва — 1925, Берлин) — соучредитель товарищества «В. К. Шапошниковъ, М. В. Челноковъ и К^о»; коллекционер произведений искусства и старины. После революции эмигрировал, жил в Берлине.

Василий Васильевич Челноков (1864, Москва — 1918) — соучредитель товарищества «В. К. Шапошниковъ, М. В. Челноковъ и К^о»; в конце жизни отошел от дел фирмы и занялся сельским хозяйством.

московскими купеческими династиями — Третьяковыми, Бахрушиными, Боткиными, Алексеевыми, Ильиными.

Челноковы — москвичи в особом смысле этого слова. Они принадлежали к тому слою московской потомственной промышленной интеллигенции, из среды которой вышли выдающиеся меценаты и коллекционеры, деятели искусств, ученые, политики. Достаточно вспомнить Щукина, Третьякова, Морозова, Алексеева (Станиславского), Гучкова, Шехтеля, Боткина. Почти все они так или иначе знали друг друга. Они принадлежали к одному кругу и были объединены вначале происхождением и достатком, а затем уже и общим пониманием жизни, тем, что называют «общей культурой».

Эта московская культура — умение жить по неписаным правилам сообщества — оказывается в центре воспоминаний Федора. Его интересуют детали человеческих характеров, в которых эти правила воплотились. Федор Челноков не прибегает к обобщениям, на которые обычно опираются авторы в эмиграции, описывая жизнь московского купечества. Здесь почти отсутствует «взгляд сверху» стороннего наблюдателя, антрополога или историка. Его антропологическая галерея вполне пристрастна и художественна.

Описание исчезнувшего московского мира вписано в автобиографию, что позволяет автору максимально широко охватить круг своих знакомств. Однако вместо рассказа о себе мы находим у него описание других. И в этом ускользании автора, когда его самые главные мысли остаются за пределами текста, обнаруживается личность пишущего, его способ не только писать, но и, возможно, жить. Именно через описание людей открывается общность внутреннего мира повествователя и тех, о ком он рассказывает. Мы видим то, что его с ними связывает, мы видим его как одного из них.

Рукопись Федора Челнокова была не нейтральным текстом, написанным автором, на досуге припоминаям прошлое, но погруженным в реальные переживания — ностальгии, одиночества, поиска опоры в настоящем, из которых рождался этот удивительный текст, где автор словно видит тех людей, о которых он говорит. Эта особенность памяти в воспоминаниях Федора Челнокова неожиданным образом сближает его с «Поисками утраченного времени», где детали туалета, обстановки, манеры говорить или привычки коллекционировать дорогие вещи становятся началами текста, как знаменитое печенье «мадлен» у Пруста. Достоверность памяти разворачивается подчас, словно кинематографическая сцена из «Дэвида Копперфилда». Действительно, из более 350 имен, встречающихся на страницах дневника и воспоминаний, неверное отчество было указано Федором Челноковым лишь в трех случаях, и это при отсутствии интернета!

Наиболее ценная черта воспоминаний Федора заключена в том, что он описывает этот мир изнутри, где главное — это обыденность, ее особое устройство, основанное на привычках, нравах, традициях или «менталитете». Устоявшаяся общность этого круга создает ощущение стабильности московского мира, где солидарность не только в родственных связях, в которых, как пишет Федор Челнов, «сам черт не разберется», не только в совместности капитала, но и в определенной культуре достоинства, внутренней интеллигентности, по которой отличают «своего» от «чужого». Она и будет тем общим звеном, которое связывает описанных Федором предпринимателей — воротил-старообрядцев — с новым поколением, получившим хорошее образование и повернувшимся к искусству и наукам.

Конечно, за этим присутствующим в тексте чувством «принадлежности к классу» стоит также определенная привычка к бытовому и интеллектуальному комфорту, культивированию красивой жизни, отсюда — коллекционирование, выливающееся в нечто большее. Многие из этих коллекций стали впоследствии национальным достоянием. Но напрасно мы будем искать разговора об искусстве, это не входит в задачи рассказчика: художественные, библиотечные собрания присутствуют здесь лишь как характеристики персонажа и его обстоятельств, атмосферы московских домов. Вместе с Федором, молодым человеком, мы впервые оказываемся в большой гостиной Боткиных, испытывая удивление от соприкосновения с новым для Федора миром — утонченной атмосферой семейства, давно вошедшего в верхи московской жизни, где произведения искусства стали привычной частью домашней обстановки.

Меня несколько отдаляло подробное описание светских развлечений, матримонIALных союзов и всей материальной стороны брачных да и человеческих отношений, которая, не будучи главной в описаниях, тем не менее присутствует не только как фон описываемого характера или события, но как его конструкция. Сколько было приданого? Что в него входило? Был ли брак равным или морганатическим? Каково было финансовое положение самого автора на тот момент? Подчас, по школьной привычке искать в жизни «высокое», мне хотелось упрекнуть автора в материализме и бездуховности, поскольку я не находил следов всех тех знаковых дискуссий, столкновений мнений, которыми для меня была отмечена эпоха. А как же Серебряный век русской культуры в литературе, философии, искусстве? Где знаменитые похороны князя Трубецкого, всколыхнувшие всю Москву и ставшие прологом к Декабрьскому восстанию? А уход и похороны Толстого?

Постепенно я стал понимать, что именно хочет рассказать Федор Челнов. Концентрируясь на описании своего опыта, он намеренно сужает рамки

разговора, приземляет, стараясь передать базовые моменты описываемого им мира. И здесь его рассказ оказывается удивительно точным описанием самой системы сложившихся отношений, где все материальное — вещи, дома, богатство, капитал — является важнейшей составляющей жизни этих людей, строящих новую материальную культуру. Вопрос не только в том, какой вы получаете доход и какое вам оставили наследство, но и в том, что вы из этого сделали. Материальное — часть этого мира. И вот Федор описывает те или иные московские дома, подробно останавливаясь на привлечших его внимание креслах, шкафах, безделушках как продолжении персонажа: они оживают и сами рассказывают о владельце. Эта поэтика вещного — важная черта текста Федора Челнокова, характеризующая не только автора, но и среду, эпоху. Однако и сами вещи, состояния, капиталы — все это не самоценно, все подвижно.

Но важнее характеры, создающие богатство. Здесь Федор Челноков раскрывает свой талант портретиста. Чего стоит история Бахрушина, помощник которого, войдя к нему в доверие, стал обкрадывать своего хозяина на очень значительные суммы. Поняв это в конце года, Бахрушин просто тихо уволил помощника. На вопрос Федора Челнокова, почему же он не заявил в полицию или не сделал публичного выговора вору, Бахрушин объяснил, что сам во всем виноват, поскольку это именно он дал возможность человеку впасть в соблазн, чрезмерно доверяя.

Удивительно видеть в его описаниях людей, ворочающих миллионами. То здесь, то там мелькнет небывалый, из каких-то иных времен вынырнувший характер, по-библейски целостный, причудливый, крутой. Федору Челнокову интересно говорить о людях, ему удастся воссоздать портреты людей, которых он когда-то знал, словно он старается подобрать к ним финальный ключ, прежде чем мысленно расстаться. Чем характер самобытнее, тем больше внимания он ему уделяет, заново вглядываясь в человека. За описаниями угадывается не только наблюдательность и пронизательный ум автора, но и симпатия, взгляд с близкой дистанции. Эта пристрастность превращает описание московских купеческих династий — задачу, которую Федор себе поставил, — в доверительный рассказ, постепенно погружающий читателя в московский мир, каким его помнит Федор Челноков.

Можем ли мы ему доверять, соглашаться с его оценками? Отдельные портреты могут показаться кому-то не совпадающими с представлениями о человеке, которые устоялись в литературе. Московские легенды, бывшие на слуху, могут быть пересказаны Федором по-своему. Действительно, в его оценках людей случается резкость, он старается смотреть прямо, без иллюзий, невзирая на то, чего человек добился в той или иной области. Его ирония часто может

показаться несправедливой. И в этом ценность его свидетельства, которое дает еще один взгляд на московский мир, совмещая в своем рассказе факты и то уникальное, личное, ту точку обзора, откуда он наблюдает.

Удивительным образом в повествовании Федора Челнокова о прошлом мы не найдем и упоминания значимых исторических или культурных событий, о которых мы готовы услышать в рассказе очевидца, — о Русско-японской войне, о выборах в Государственную думу, наконец, об открытии памятника Гоголю в 1909 году. Хотя к организации торжеств по поводу открытия памятника брат Федора, Сергей Челноков, имел непосредственное отношение, сохранились его фотографии Станиславского и Немировича-Данченко на могиле Гоголя. Почему так?

Дело в избранной манере воспоминаний, где рассказчику важно говорить о том, что знает только он, постепенно перемещаясь по этому театру прошлого, возвращая ценность жизни в ее повседневном течении. Недаром все потрясения — войны, революции, манифесты, выборы — упоминаются автором не с точки зрения их исторической оценки, но лишь в той степени, в которой они конкретно затрагивали жизнь его родных, знакомых, почти всегда вынося за скобки оценивающую позицию историографа. В чем-то это напоминает фильм Алексея Германа — младшего «Гарпастум», где герои регулярно собираются играть в футбол, и это единственное занятие оказывается тем, что выдерживает испытание временем и позволяет пережить исторические катаклизмы. Но чего-либо подобного «гарпастуму», изобретенному режиссером, в мире реальном не случилось, когда исторический контекст, старательно выносимый автором за скобки, заявил о себе.

Сохранились шестнадцать пронумерованных тетрадей с мемуарами Федора Челнокова. Некоторые части рукописи были уничтожены его дочерью Лидией после его самоубийства в 1926 году. Авторский текст не был разбит на главы в соответствии с темами, о которых идет речь. Это были воспоминания в той изначальной форме, в которой они записывались, автор их не правил — новые заметки писались в продолжение уже написанного, а не вставлялись в соответствующее место в более раннем тексте. При подготовке к изданию для удобства чтения воспоминания о московской жизни были заново разбиты на части (тетради) и главы, чтобы соединить фрагменты на одну тему: «Под опекой Боткиных», «Бахрушины» и так далее.

Это издание восстанавливает связь между рукописью и фотоснимками, которые родной брат Федора Челнокова, Сергей, делал непосредственно во время описанных мемуаристом событий. Именно эти фотографии и привели к обнаружению рукописи: на выставке «Сергей Челноков. Открытие

ПРЕДИСЛОВИЕ

коллекции», проходившей в Музее Москвы в 2015 году, оказался небольшой снимок, на котором запечатлена девочка с куклой. Такая же фотография обнаружилась на комоде в парижской квартире Наташи Бахрушиной-Никулиной, правнучки Федора Челнокова.

Федор и Сергей Челноковы оба эмигрировали после революции, однако дочь Федора Лидия — девочка с куклой — осталась в Берлине, а затем переехала в Париж. Дочь же Сергея, Наталия, после смерти отца в Копенгагене в 1924 году вернулась вместе с матерью в Советскую Россию — и связь между двумя ветвями челноковского рода была потеряна. В историю рукописи все время вклинивается другая, ненаписанная история, другой роман, где имеется множество персонажей, чувств, переплетений судеб, событий, приведших к тому, что фотографии Сергея Челнокова и мемуары Федора Челнокова встретились на страницах этой книги.

Бабушка

Со старческим смехом [бабушка]¹ рассказывала, как они с Анной Дмитриевной в былое время играли в карты. «Вокруг нас, — говорила она, — лежали кучи золота, которое мы выигрывали и проигрывали, а сами курим трубки с такими длинными чубуками, что трубка-то лежит на полу». В наше-то время она от табака открещивалась, отплевывалась и бранилась, если пустить на нее дым.

Все в ней было своеобразно, и особенно ее шутки, ее смех, ее мировоззрение, отношение к людям и даже наружность. Несмотря на годы, она любила одеваться. Помню, было у нее платье темное, как бы посыпанное мелкими красными ткаными цветочками. Она была единственная женщина с плешью, которую я знал, а плешь у нее была огромная и спускалась за макушку. Чтобы ее скрыть, она носила шиньон, покрытый черными кружевами с тонкими ленточками черного бархата или темно-лиловыми шелковыми. Ее собственные черные волосы немного курчавились, она расчесывала их средним пробором, распределяла пышно по вискам, а там уж были шиньон, кружева, ленты. Голова получалась несколько велика. Красотой она, должно быть, никогда не отличалась, цвет лица был какой-то нездоровый, желтоватый, но больна она никогда не была.

¹ Щурова Татьяна Петровна (1818–1893) — двоюродная бабушка Ф. Челнокова, сестра его деда по матери, М. П. Ильина. Была замужем за московским купцом Кадашевской слободы, «содержателем металлографии» (гравюрной мастерской), М. П. Щуровым.

В дополнение к туалету всегда была в больших золотых серьгах мудреной конструкции, причем серьги своей тяжестью прорезали за время когда-то маленькие ушные дырки. Серьги были и тогда старинные и до того отполированные от постоянного употребления, что бывшая на них когда-то гравировка на выпуклых местах исчезла. К серьгам была большая и такая же старинная брошка. Лицо было длинноватое и никакими особенностями не отличалось. Привыкла она смолоду к платьям широким, такие и употребляла, хотя кринолинов по моде она не носила. Эти широкие платья скрывали ее худобу, и она представлялась совсем полной. Голосом обладала она ни тихим, ни громким, но своеобразным, с какой-то маленькой трещиной; смех веселый, заразительный, но не продолжительный и не закатыстый.

Она положительно была умна. С женой «братца» — так звала она моего деда, Михаила Петровича¹, — была не близка: та была для нее суха, вероятно, ядовита и практична, чего в бабушке абсолютно не было, особенно ядовитости. Братца она положительно боготворила, а когда он бывал нездоров, то и брила. «Братец-то мой, — говорила она как-то, — идет по фабрике, красота-то, красота неопикуемая, а на шее галстук — рублей в 50!» И на «рублей» делала особенное ударение. «Недаром, — говорила она, — княгини и графини по нем обмирали».

Именины ее бывали в Татьянин день, 12 января². Тут уж все к ней являлись; а кто не явится, [того она] целый год корить будет. С самого утра, после обедни, являлся причет, и с этого начинался круговорот гостей. А квартира была крохотная: узенький коридор, направо кухня, налево спальня темная: ее всю заполняла одна двуспальная бабушкина кровать — великолепная, красного дерева и тогда уж старинная. Впрочем, все у нее было старинное и великолепное. Дальше была гостиная шириной в спальню и коридор в два окна, рядом еще комната в одно окно — и все. Мебель же была громоздкая, было ее много, всюду были натканы тумбочки с цветами, канделябрами, стеклянные шкафчики с фарфором; часы башенные, с которыми, как говорила она, одна и умела справляться; потом часы находились у меня и после починки ходили отлично, хотя были очень чувствительны и не любили, чтобы их толкали. А как не толкнуть в такой тесноте?

¹ Михаил Петрович Ильин (1801–1881) — московский 1-й гильдии купец Таганной слободы, владелец каретной (экипажной) фабрики, потомственный почетный гражданин. Первым браком был женат на Анне Григорьевне, урожденной Марковой (1819–1839), дочери потомственного почетного гражданина, московского 1-й гильдии купца Таганной слободы, владельца каретной фабрики, Григория Федоровича Маркова. Здесь речь идет о его второй жене, Вере Кондратьевне Шапошниковой (1821–1893). Владели особняком в Москве (Пименовская ул., 5).

² По старому стилю.

В другой комнатке у нее во всю стену, что была поуже, стоял чудный туалет¹, громадный, весь заставленный фарфором. В двух стеклянных шкафчиках фарфор с самого пола был нагроможден чашка на чашку, кукла на куклу. Тут же между вещами виднелись разные фотографии ее друзей и родных. Здесь находились старинное-престаринное серебро, сервиз, чарки, бокалы. Тут лежали странного вида раковинки, звездочки из перламутра: это были денежные знаки, чуть ли не из Индии, оставшиеся ей от мужа, и она сама не знала, что это такое. Были тут и эмалевые вещи, и соблазнительного содержания, как и большинство кукол. Только сама бабушка могла разобраться во всей этой груде, а если что разобьется, клеила воском. Капнет горячим воском — и держится. На шкафчиках тоже нагромождено было всякой всячины на манер гипсовых испанцев с гитарами, кашпо с растениями. Кружевной порт-букет², пропылившийся, почти с одними проволочками вместо цветов, был воспоминанием давно-давно минувшего бала. Если б он заговорил и рассказал, о чем напоминал бабушке. Тут же старался пыжиться старинный черепаховый веер. В нескольких местах, где его шелковая ленточка уж истлела, он поделился на части. Я думаю, каждая планшетка этого старого друга бабушки могла бы рассказать интересную историю ее побед, брошенного слова, скрытой улыбки или намека, а может быть и поцелуя. Ох, эти веера — много они знают, но молчат.

В такой-то обстановке жила наша старушка. Кругом все молчало, но все было полно значения, и как будто эти старинные вещи шептались между собой о минувшем времени, к которому нет возврата. Мог заговорить громко только один ящик верного туалета, хранившего бабушкину корреспонденцию. Но когда бабушка умерла, Агашка, зная все, как цербер, никого не подпустила к туалету, при наследниках извлекла содержавшиеся там много-много лет письма, записки и билъеду³ — разрозненные, связанные розовыми лентами, отложенные отдельно в драгоценные бювары, баулы, — и, бросив в печь, уничтожила. Она не отошла от печи, пока все прошлое бабушки не погребло в огне. А дороги были бабушке эти клочки разноцветной бумаги, если она сохраняла их всю свою длинную жизнь! Умерла она без малого в 90 лет. Таких жизненных людей, пожалуй, теперь и не найти.

Бабушка принимала гостей в светлом платье, в старинных блондах⁴ на голове и плечах, в бриллиантах. Немного последних сохранилось у нее, но с этими

¹ Столик с зеркалом.

² Porte-bouquet (фр.) — флакон для цветка или букета, обычно крепящийся к корсажу.

³ Billet doux (фр.) — любовная записка.

⁴ Blondes (фр.) — вид шелковых кружев.

она не рассталась в самой крайней нужде. Тщеславия, старой спеси было в ней целое море. Эти вещи и знаменитый на всю Москву черно-бурый салоп, шитый в неведомые времена, играли в ее жизни первенствующую роль. Они употреблялись главным образом на удивление всего прихода. Она говорила: «Я угол полы заколю булавочкой и иду в церковь причащаться. Все и видят, какой мех-то. Натка Кроткова, небойсь, такого и не видала». А Кротковы были ее соседи, страшные богачи. «Агашка как салоп-то снимет да вывернет мехом наружу, так все и ахнут — медведь суший!» И действительно, редкостная была лисица. «А то, — рассказывала, — приду в церковь, так незаметно стану на колена позади Кротковой, сама будто молюсь Богу, вся в землю да в землю, а улучу минутку, возьму ее за юбку — поверишь ли, из материи наперстки шить можно».

Завистлива она не была, а в богатстве было для нее что-то чарующее. Про Надежду Кондратьевну Боткину¹ говорила: «Неудивительно, что она такая покойная, ведь ее во всю жизнь блоха не укусила. А как чуть что, так и Петр Иванович тут». А «Петр Иванович» был доктор Боков, редкой красоты человек, составивший благодаря Надежде Кондратьевне громадную практику и состояние. Бабушка в этом случае говорила на два смысла: хоть Надежда Кондратьевна была всегда вне всяких подозрений, но уж у бабушки такой склад ума был. Она не судила, а [просто] так выходило интересней, пикантней.

Я все отвлекаюсь от именин. Церемониал был самый деспотический, никто и ни под каким видом уклониться от него не мог, хотя и упирались для приличия и для того, чтобы доставить ей удовольствие угощать. Начиналось истязание сладкой вишневкой, но отпускалось не больше двух рюмок: пьяных она не любила. Сейчас же она или Агашка подставляла тарелку с пирогом (курником): он бывал вершка в два с половиной вышиной, в нем лежали цельные куски курицы и фарш. Кричишь: «Бабушка, да я так много не могу». — «Да что ты, батюшка, Петр Петрович был, кушал, очень хвалил». Петр Петрович Боткин² был неоспоримый авторитет. «Бабушка, да ведь он с тарелки валится, я не могу столько». — «Да ты что, в самом деле, к себе домой, что ли, приехал? Сказано: кушай — и кушай на здоровье». Ну и ели, и всякий знал, что ему предстоит еще по такому же куску поросенка с хреном и знаменитой, белой, как молоко, индейки.

¹ Надежда Кондратьевна, урожденная Шапошникова (1827–1908) — потомственная почетная гражданка, жена П. П. Боткина.

² Петр Петрович Боткин (1831–1907) — московский купец 1-й гильдии, коммерции советник, потомственный почетный гражданин, миллионер-чаеоторговец, глава торгового дома «Петра Боткина сыновья» и фирмы «Новотаволжанский свеклосахарный завод Боткиных».

Чем дело шло дольше, тем у бабушки было больше доводов, почему все это надо есть: то эту индюшку мясник нарочно заказывал кормить орехами, то поросенок как-то особенно сварен, но самое безысходное было то, что в доме у нее надо было покориться судьбе, а ей можно было противоречить ровно настолько, насколько это поджигало ее хозяйские обязанности — угощать. Когда все было исполнено по-ее, она была довольна: «Ну вот, спасибо, доставил удовольствие, спасибо, теперь пойдем чай пить». А какой там чай, когда хлястик штанов уж давно распущен, иначе дышать было бы невозможно! Она провожала тебя в соседнюю комнату и сдавала там какой-нибудь родственнице, разливавшей чай, а на твоём месте шло истязание вновь прибывшего поздравителя. С чаем таких мучений не было: можно было пить или нет, чай уходил из-под ее контроля. Насчет сладостей она тоже не настаивала, все равно ими наполнялся изрядный кузовок, и они впахивались в последний момент в карету, набитую битком пятью ребятами и гувернанткой.

Над попами она подтрунить допускала и сама другой раз расскажет, что далеко было от уважения. Но службы, но обряды — о, это она знала до тонкости и все исполняла как по часам! В пятницу на Страстной необходимо было подержаться во время крестного хода за кисточку плащаницы. Это было так важно, как будто могло иметь влияние на всю жизнь! Она всю жизнь это и проделывала, только года за три до смерти уж слаба стала на ноги, что ли. «Только это я за кисточку-то, а кто-то подтолкнул, сам за нее ухватился. Я упала, так крестный ход по мне и прошел», — говорила она потом. Сильно помяли старушку — в первый раз в жизни в кровати лежать пришлось. Отлежалась, только уж той бодрости не было и как-то глаза раскосило.

Особенно сблизился я с ней, когда мне было лет 18. Наскучило мне ученье, а бросить его характера не хватало. Как в детстве развивался я особняком, так и в этом случае мне не хотелось поднимать разговора с братьями: начались бы пересуды, ядовитые насмешки. Словом, я не знал, как это будет принято, и вместо школы уходил с утра к бабушке и сидел до тех пор, пока время было возвращаться из школы.

Долго бы так продолжалось, только из училища был командирован к нам надзиратель — справиться, почему я так редко бываю в школе. Тут-то все и выяснилось, пришлось сделать решительный шаг, прошение подать об исключении из училища. Вот в это время бабушка и показала свою верность. Я ходил к ней часто. Раза три в неделю и в течение месяцев трех. Каждый раз она пыталась меня бранить, уговаривала учиться, а потом спохватится: «Да что же это я, ты, небойсь, озяб, выпей, выпей, говорят тебе, вишневки», — ну и начиналось кормление, конечно, не такое обильное, как в именины, а «что было в печи, все

на стол мечи». Тут уж, можно сказать, она делилась своим последним куском, хозяйство у нее было крохотное: она да Агашка, обе древние, средства крохотные. Ну я старался ее не объедать, да и она бывала не так настойчива, привыкла ко мне, установились какие-то особенные отношения, основанные на тайне, а тайну мою никому не выдавала, никому о моих визитах не проронила ни слова. А мне как-то везло, никто меня у нее не накрыл. Да кому, правда, была нужда тащиться к ней во всякую погоду, по будням, на Палиху с 10 часов утра и до часу. В это время все занимались своим делом и готовились к завтраку. Следовательно, расчет мой был верен, а мы-то с бабушкой в это время благодушествуем, болтаем про все домашние дела, как цветы растить надо: я уж в это время по этой части был авторитетом.

Прошло сколько-то времени, опять я у нее скрываюсь, опять она журит, а потом ушла в другую комнату и, вернувшись, сунула мне в руку маленький сверточек и говорит: «Бери да никому не говори». Вернувшись домой, я развернул бумажку и нашел две бриллиантовые пуговицы, очень старинные. Я потом из них сделал себе кольцо в форме змеи с двумя головами, а в головах у них были эти камни. И вот всю жизнь ношу это кольцо и вспоминаю деликатность бабушки, желавшей таким образом компенсировать мне. Через несколько времени Елена Васильевна подарила нам по неважному колечку из материнских вещей — на память. Очевидно, это было бабушкино воздействие.

Все бриллианты попали к сестре; и все еще оставалось их на крупную сумму, а у матери было их, должно быть, очень много. Бабушка рассказывала, что на один из маскарадов у Д. П. Боткина она явилась в костюме, подол которого весь был обит ее собственными бриллиантами. «И отчаянная была! — добавляла бабушка. Не боялась, что потерять могла. Когда танцевала — так вся и горела огнями». Насчет бриллиантов бабушка ничего не сказала, считая это добро фамильным, только вспомнила недобрым словом отца, что пропустил срок и детских вещей не выкупил.

Отрывками вспоминаю, как они с Марковой гоняли на тройках. Как и у Ильиных, на заднем крыльце висело полотенце, пропитанное лягушечьей икрой: люди приходили утираться этим полотенцем и это будто помогало от рожи¹. «Так поверишь ли, — говорила она, — все полотенце-то черное стало, сколько народу им терлось». Куда девалось это чудодейственное полотенце — не знаю. Но, по словам бабушки, вся Москва того времени знала о нем — и помогало. Рассказывала она, что дедушка был поставщиком экипажей у Закревского. А За-

¹ Инфекционное заболевание, вызываемое стрептококком группы А, которое проявляется в покраснении кожи и повышении температуры.

кревский был генерал-губернатор, любимец Николая I, временщик того времени. Фигура всесильная. Могу себе представить, что творилось, когда он куда-нибудь приезжал.

Деда Закревский любил и по делам ездил к нему сам и обязательно требовал, чтобы при разговоре присутствовала моя мать¹. Она же была настоящая красавица, о чем можно судить по оставшемуся дагеротипу, относящемуся к этому времени. Уезжая, Закревский оставлял ей на булавки по 1000 рублей. Бабушка говорила об этом с удовольствием, но не думаю, чтобы мать чувствовала себя хорошо во время этих визитов и от этих подачек. Но время было такое. Многие бы желали добиться такой чести, и в словах бабушки чувствовалось, что она это и понимала как честь. Я думаю, что если бы попытаться объяснить ей, что я тут никакой чести не видел, то она, наверное, накинулась бы на меня и сказала бы: «Да ты что, в самом деле, ведь это Закревский дарил ей!» И, действительно, Закревский был всесилен и мог творить все, что вздумается. Мог без суда и следствия сослать в Сибирь и по своему произволу миловать.

Бабушка уж выезжать и к Мякишевым² стала редко. Добралась как-то до нас после плащаницы. Глаза у нее почему-то раскосило, и это, должно быть, была причина ухудшения зрения. В этот раз я уговорил ее сняться — тогда мы занимались домашней фотографией, бывшей в новинку. Бабушка во всю свою жизнь ни разу не снималась, несмотря ни на какие просьбы ее родни, но тут дала себя уговорить. Снимать пришлось с магнием, фотография вышла неважно, а главное — нехорошо вышел глаз, очень заметно было, что он на боку, и я по глупости негатив уничтожил. Потом-то я себя ругал, да поздно было.

Шло время, пошло здоровье бабушки под горку. Стали пухнуть ноги, делали массаж, да уж где там — началась водянка. Слегла и довольно долго боролась она с ней, но смерть осилила, умерла бабушка. Первый, кто явился к ее праху, был Петр Николаевич Ильин³ с мешком. Он запрягал туда знаменитый салоп и, как ворон, добывший пищу, умчался к своей супруге Марии Николаевне, которая, конечно, погнала его за ним, чтобы другие наследники не воспользовались. А наследников было про́пасть: нас пятеро, Мякишевых четверо, Креска, Петр Николаевич да Морозова.

¹ Елена Михайловна, урожденная Ильина (1835–1868), в замужестве — Челнокова.

² Александр Федорович Мякишев (1824–1899) — владелец каретной фабрики, потомственный почетный гражданин, почетный старшина Московского совета детских приютов (1854–1856); казначей Хамовнического отделения городского попечительства о бедных; комиссар Московской городской казны.

³ Петр Николаевич Ильин (1834–1899) — каретный фабрикант. Его жена — Мария Николаевна, урожденная Шапошникова (1847–1928).

Александр Федорович вступил в исполнение душеприказчищских обязанностей. Он оповестил родственников. Бабушку уж честь честью похоронили на Лазаревском кладбище, где хоронились все Ильины и вообще каретнорядские родственники. Наши командировали меня. А я и всегда был малый застенчивый и стеснительный. Приехав на это собрание и получив от Александра Федоровича предложение взять, что пожелаю, взял чайный сервиз, из которого чай пился только в именины, уж порядочно побитый, но все еще прекрасный как формами, так и удивительной окраской, какой потом мне и не попадалось, еще знаменитую куколку, ищущую, вероятно, и по сие время блох, и штук пять старинных чарок. Какой-то напал на меня стыд, и больше я ничего взять не мог — и сделал глупость. Куда девались потом все бесчисленные фигурки, чашки и всякие штучки? Так я никогда и не дознался и их не видал.

Через несколько времени, однако, нам были присланы еще часы, что только одну бабушку слушались, а сестре — великолепный серебряный умывальник с тазом и бархатное платье, какого на ней никогда не видал. Что получше, разбирали другие родственники, а мебель, считавшаяся уж в это время немодной, и много всякого «хлама» были свалены у Мякишевых в сарае, где, наверное, погибли зря. А за весь этот хлам через немного лет я рад был бы отдать большие деньги! Ведь в этом хламе погибли и гравюры, и гипсовые испанцы, и много такой старины, какой не найти ни за какие деньги, хоть сами по себе вещи были незначительные.

Креска

Самый любимый приезд Крески — [крестной], Елизаветы Михайловны Ильиной, в замужестве Мякишевой¹ — бывал весной, когда установится сухая, теплая погода. Этот приезд приносил с собой интереснейшее развлечение и занятие на целый день. С ее приездом ворота и калитки запирались наглухо, никто во двор не впускался с улицы. Отпиралась кладовая, и из таинственных саркофагов-сундуков извлекалось содержимое, выносилось во двор, развешивалось по веревкам, выколачивалось, чистилось, пересыпалось новым табаком и перцем и, взобрав свежего воздуха, «тени минувшего» опять на целый год отправлялись по своим саркофагам.

Любопытные это были дни, чего-чего не перевидаешь да и наслушаешься. Вот сундук с платьями матери, сколько их там? — целый сундук. Моды уже устаревшие, материи, каких в наше время уж не бывало — наперстки шить было можно. Вот белое платье из атласа, строчено лебяжьим пухом, в нем [мать] была на балу у Грушеньки Лепешкиной². Вот с кружевами, подвенечное; к нему цветы

¹ Елизавета Михайловна, урожденная Ильина, в замужестве Мякишева (1844 — после 1918) — потомственная почетная гражданка.

² Аграфена (Агриппина) Николаевна, урожденная Шапошникова (1838–1918) — дочь Николая Кондратьевича Шапошникова, с 1900-х гг. — потомственная дворянка. По духовному завещанию мужа была назначена наследницей, когда дети были уже совершеннолетними. Муж — Дмитрий Семенович Лепешкин (1828–1892), московский 1-й гильдии купец, статский советник, потомственный почетный гражданин. Владел пятью бумагопрядильными фабриками в Дмитровском уезде, был главой «Товарищества Вознесенской мануфактуры Лепешкина С. сыновей». Незадолго до смерти продал фабрику и открыл банкирскую контору на Троицком подворье в Китай-городе.

и свечи, и газ, и кружева — все хранится и хранится по своим местам. Несут бархатное черное платье, широкое, гладкое, без отделок. В нем [мать] ездила в оперу, недавно сшитое, надевала всего два-три раза, а бархат настоящий лионский, в то время за аршин 12 рублей плачено, а материи пошло — счету нет, узенький. Такая была прочность, что сестра моя всю жизнь в торжественных случаях рядилась в этот бархат, перешивавшийся все на новый лад. Несут платья все новые: темное с полосками, белое с черными полосками. Рукава узкие, рукава греческие, с раструбами; под них поддевались рукава кружевные, широкие, чтоб из-под матерчатого выглядывали, как облако какое-то, перевязанное около кисти узенькими ленточками.

Из других сундуков появляются аксессуары: тут и кружевные накидки, и мантильи, и целые брюссельские воланы, испанские, серебряные от старости, блонды и чего-чего нет. Шали турецкие длинные, шали квадратные, самые драгоценные, с белыми середками, с середкой желтой, и бабушкина шаль тут, что на портрете изображена. Несут меха: тут и чернубурая, и бурая лисица, и банная шуба из красной лисицы; муфты, ротонды, боа, как змеи, круглые, длинные, все из соболей; отцовские шубы дорожные, громадные, из енотов, и много их — и городские, и для ходьбы, с бобрами. Шапка соболя — громадная, мы в нее рядимся, весело!

Появляется белье — батистовое шитое, строченное, — сколько глаз погублено! — уже пожелтелое, еще от Анны Григорьевны, от матери ее, все по сундукам валялось. Тут и столовое белье: одна скатерть человек на 60, с лебедями, к ней весь прибор — скатерти средние, поменьше, салфеток груды, и все с лебедями. Китайский ящик с китайской белой шалью, еще со страусовыми перьями, длинными, цветистыми, белыми — какая красота! Появляется обувь, шляпы, маскарадные костюмы. Между ними настоящее платье прабабушки времен Директории — узкое, короткое, из легкой плотной материи цвета коричневаторозоватого сомон¹, с полосками, и по ним тканым тонким рисунком в цвете, с поясом под самую грудь; декольте большое обшито шелковым тонким кружевом; рукава длинные, в обтяжку, а на плечах пuffy громадные, кисти рук в кружевах скрываются. К платью шляпа задорная, перья так и торчат пучком, а во все стороны и чулки, и обувь, и веер в два вершка величиной, черепаховый, с акварельной картинкой, по содержанию современной костюму. Тут и костюм субретки, с громадным чепцом, и ящик со стеклянными фруктами, связанными длинными гирляндами, — остаток от костюма «осень». Целая школа художественной промышленности и безумной роскоши.

Отец всего этого видеть не мог, на такой день уезжал куда-нибудь. Не вынесло бы сердце бедняги, ведь каждый клоч материи, каждый башмак, перо,

¹ Розово-желтый (от фр. *saumon* — семга).

терзали бы его сердце воспоминаниями о потерянном счастье — исчезнувшей Леничке. Ко всему и мы относимся с благоговением, но склонность к изящному, красивому так и тянет развернуть, посмотреть да и на себя напялить.

Был там еще зеленый железный сундук с музыкой: как его отпирать, так он звонит на весь дом — от жуликов. Знали мы, что в нем серебро лежало, а какое, сколько, не знали, [так как] сушить его не требовалось. Со временем добрались: чуть ли не битком набит был солонками в виде калачей, куличей, деревенских домиков; были кубки, бокалы, корзинки, сервиз чайный и много всякой всячины, кроме дедовского обеденного прибора. Толкового только мало было, добро больше дареное, и покупал всякий на свой вкус; были вещи и стильные. И куда все добро подевалось? Рассыпалось, чисто ветром разнесло.

Так гибло у нас наше старое русское добро, обрисовывавшее быт, вкусы, нравы. Насколько бабушка была креатурой начала XIX столетия и носила на себе отпечаток Екатерининской эпохи, настолько Креска восприняла влияния эпохи Великих реформ. Помню я ее с тех пор, как только себя помню, так как заботы о нас, хотя и поверхностно, она взяла на себя: раз в неделю приезжала к нам обедать. О ее детстве и юности знаю немного. Была у нее еще сестра родная, Людмила, и брат Сергей, дядя Сережа, как мы его звали¹. С нашей матерью у нее большой разницы в годах не было, всего лет пять или семь. По-видимому, с ней она дружила. Сестру Людмилу очень любила, о ней рассказывала анекдот, случившийся при ее рождении.

Дед ждал во что бы то ни стало сына, а родилась дочь. Он так рассердился, что не хотел знать бедной, ни в чем не повинной девочки. Надо ее крестить, а ему дела нет. Поп спрашивает, как назвать? — как хотите, так и назовите, был ответ. Тогда поп и говорит: если отцу не мила, так пусть будет людям мила — и окрестил ее Людмилой.

Наконец дед дождался сына. Почему-то у Ильиных в родне особенно чтился преподобный Сергей. У всех старшие сыновья назывались Сергеем. Так было у Мякишевых, у Епанешниковых². Епанешникова — дочь Николая Петровича

¹ Людмила Михайловна Ильина (1845–1856) родилась от второго брака отца, умерла в детстве. Сергей Михайлович Ильин (1852–1870) родился от второго брака отца, скончался в юности.

² Василий Иванович Епанешников (1824–1888) — московский 2-й гильдии купец, с 1866 г. единственный владелец ковровой и суконной фабрики на ул. Большая Якиманка, личный почетный гражданин. Торговлю имел коврами и сукнами «в Городской части, что на Ильинке», «в Мясницкой части, на Кузнецком Мосту, в магазине «Русских изделий» и в Санкт-Петербурге, в Гостином Дворе на Невском проспекте. Состоял членом московской торговой депутации, был старостой церкви иконы Казанской Божией Матери, «что у Калужских ворот».

Литературно-художественное издание
Әдеби-көркем басылым

Персона. Династии

ЧЕЛНОКОВ Федор

МАМОНА И МУЗЫ

Воспоминания о купеческих семействах
старой Москвы

Заведующий редакцией *О. Ро*
Ответственный редактор *И. Музыка*
Выпускающий редактор *Т. Маслова*
Стажеры *Т. Кабанова, У. Михалева*
Художественный редактор *А. Коннов*
Технический редактор *Л. Сеницына*
Корректоры *Н. Иванова, О. Левина*
Компьютерная верстка *В. Ермак*

Подписано в печать / Баспаға қол қойылды 12.07.2025.
Формат 72×100 /₁₆. Бумага офсетная. Гарнитура «Fact».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 30,67.
Тираж 2000 экз. О-PAD-37054-01-R. Заказ №

Изготовитель:	Өндіруші:
ООО «Издательство АЗБУКА» – обладатель товарного знака КоЛибри 115093, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пер. Партийный, д. 1, к. 25 Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19 E-mail: sales@atticus-group.ru	«АЗБУКА Баспасы» ЖШҚ – КоЛибри тауар белгісінің иесі 115093, Мәскеу, қ. іш. аум. Даниловский муниципалдық округі, Партийный т.ш., 1-үй, к. 25 Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19 Эл. поштасы: sales@atticus-group.ru
Филиал ООО «Издательство АЗБУКА» в г. Санкт-Петербурге 191024, Санкт-Петербург, Херсонская ул., д. 12–14, лит. А Тел. (812) 327-04-55 E-mail: trade@azbooka.spb.ru	Санкт-Петербург қаласындағы «АЗБУКА Баспасы» ЖШҚ филиалы 191024, Санкт-Петербург, Херсон көшесі, 12–14 үй, лит. А Тел. (812) 327-04-55 Эл. поштасы: trade@azbooka.spb.ru
www.azbooka.ru; www.atticus-group.ru	www.azbooka.ru; www.atticus-group.ru

Отпечатано в России. Ресейде басып шығарылған.

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить по адресу:
<https://certification.atticus-group.ru/>.

Техникалық реттеу туралы РФ заңнамасына сай басылымның сәйкестігін
растау туралы мәліметтерді мына адрес бойынша алуға болады:
<https://certification.atticus-group.ru/>.

Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
Ақпараттық өнім белгісі (29.12.2010 ж. № 436-ФЗ федералдық заң)

